

| СОДЕРЖАНИЕ |

ВИТЁК	7
ВОСЬМЁРКА	27
ПЕТРОВ	108
ДОПРОС	138
ОГЛОБЛЯ	232
ТЕНЬ ОБЛАКА НА ДРУГОМ БЕРЕГУ	254
ВОНТ ВАЙН	283
ЛЕС	294

ВИТЁК

Москва поехала! Собирай обедать, мать! — говорил отец, заходя в дом. Пацан улыбался ему. У отца всё время был такой вид, словно он поймал большую рыбу, которая у него в мешке за спиной трепещет хвостом.

Бабушка выглядывала в окошко. По насыпи мимо деревни пролетал сияющий состав.

В книжках шум поездов описывался странным «тук-тук-тук, ты-тых-ты-тых» — но звучанье состава, скорей, напоминало тот быстрый и приятный звук, с которым бабушка выплёскивала грязную воду из ведра на дорогу. Состав будто бы сносило стремительным водным потоком. Казалось, зажмуришься в солнечный день, глядя составу вслед, — и разглядишь воздушные брызги и мыльные пузыри, летающие над насыпью.

По Москве, часа в четыре, обедали — когда дневной состав проходил в столицу, — и с Москвой, в девять с мелочью, ужинали — когда состав мчался оттуда. Если днём, на солнце, состав смотрелся будто намыленный, то вечером напоминал гирлянду.

Утром тоже был рейс, но мальчик в это время спал, бабушка возилась с коровой, а отец уходил на работу в котельную и там, наверное, время от времени похмелялся с Москвой.

Однажды пацан, перегуляв, на ночь выпил шесть кружек воды, утром, встав на три часа раньше обычного срока, припрыгивая, выскочил на улицу и наконец стал свидетелем того, как проходит первый состав. Он был схож с длинной рыбой, показавшейся на поверхности воды и тут же пропавшей в белёсой глубине. Пацан ещё толком не раскрыл глаза, когда раздался этот настагающий плеск, — а когда всё-таки разлепил ресницы — только птица зигзагами летала над насыпью, словно её полёт спутал огромный ветер.

...залил себе всю калошу, пока смотрел на птицу.

Пацану было семь лет, отец выучил его буквам.

Пацан ровно накусал пассатижами проволоку, найденную в сарае, затем, сверяясь по книжке и кряхтя, как бабушка, смастерил десятка полтора разных букв. Сначала чтоб хватило на своё имя, потом — на имя коровы, после смешал оба слова и, поковырявшись, набрал на Москву, которая носилась туда-сюда по путям.

Ходить к насыпи ему запрещали.

Зимой, сквозь рыхлые снега, вверх было не забраться. Осенью и весной насыпь была грязна и неприступна. Пацан подступался как-то — вернулся домой измазанный с головы до пят, бабушка обивала его сначала на улице, потом оттирала в прихожей, потом домывала на кухне.

Зато летом... летом там цвели такие буйные цветы — издалека казалось, будто они катаются на санках: всё было белое, красное, шумное, всё кудрявилось и кувыр-калось через голову. Взгляд скользил, когда пацан глядел на эту красоту.

Засыпая, он всё никак не мог понять, как цветы прижились вдоль отлогой, крутой насыпи — им же приходится расти не вверх к солнцу, а куда-то почти в сторону, набок. Солнце греет им стебли и затылки, а не макушки.

...висит цветок, заслонившись рукавом от света, и сверху проносится состав...

Внизу, под насыпью, цветы пахли цветами — а вверху, ближе к рельсам, их становилось всё меньше, и редкие ромашки отдавали пылью, мазутом, гарью.

Пацан залез вверх перед обеденным поездом, разложил буквы на рельсе, друг под дружкой.

Сначала они лежали спутанно, но, решив, что это непорядок, пацан выложил их как положено в слове «Москва».

Часто оглядывался — не идёт ли, взметая птиц и мыльные пузыри, сшибая слепней и пчёл, состав.

Внизу, на поле, паслись коровы — их в деревне осталось три.

Одна — их Маруся, неспешная и отзывчивая, как бабушка. Другая — ближнего соседа по прозвищу Бандера, такая же рыжая, как он. Третья — соседа по прозвищу Дудай — чёрной масти и дурная, тоже понятно в кого.

Дудай, когда гнал корову домой, прикрикивал: «Хоп-хоп! Иди, ай!». Бандера раз в минуту повторял: «Цоп-цобе! Цоп-цобе!». И лишь бабушка пригоняла корову молча, потому что Маруся и так знала, куда идти.

Сейчас коровы щипали траву, обмахиваясь хвостами, или, вытягивая шеи, громко мычали в сторону путей, будто призывая состав.

Пацан сполз вниз, смятая цветы, и долго ждал поезда. Гораздо дольше, чем предполагал. За это время он оборвал лепестки у всех ромашек вокруг. Ромашки стояли лысые и противные, как новобранцы. Мухи садились на них, а пчёлы уже нет.

Пацан не двигался и старался не дышать.

Совсем близко из норы вылез суслик и поднялся на задние лапки, маленький и непроницаемый, как японский божок. Он изредка принюхивался к воздуху.

Пацан сморгнул, и суслик пропал.

На минуту задумался, как же проживает суслик вблизи путей: у него же в норе, наверняка, вся мебель дрожит и осыпается, когда мчит московский.

Состав вылетел будто из засады. От него шёл жар, а ветер нёсся и впереди, и позади, и по бокам состава, заставляя кланяться травы и кусты.

Жар этот был вовсе не такой, как от бабушкиных сковородок, — он пах серой, а не подсолнечным маслом. И сам состав был полон скрытым гулом, как будто внутри его находились тысячи бешеных пчёл.

Пацан вдруг, на долю секунды, явственно увидел девочку в окне, радостно указывающую в него пальцем. Поезд нёсся так быстро, что пока она не сжала кулачок, пальчик успел показать на всех коров, котельную, старые склады, кладбище и начинавшийся за ним лес.

Когда родители девочки, наконец, подняли глаза, чтоб разглядеть причину её удивления, — взгляд их упал как раз на косые кресты и неряшливые надгробья.

Кладбище было обнесено железной оградкой только со стороны села, а дальний его край, уходящий в деревья, был открыт настежь, словно покойным только к живым людям не стоило ходить, а в лес — пожалуйста.

Пацан иногда представлял, как могилу деда навещает медведь, или волк... или компания загулявших зайцев.

Немного подождав, пока не удалились все опалённые всадники, сопровождавшие состав, пацан поспешил к рельсам.

Буквы смотрелись замечательно. Они расплавились и стали не толще пчелиного крыла... ну, хорошо — трёх пчелиных крыл.

Пацан бережно собрал ещё горячие сколки алфавита. С другой стороны насыпи была воинская часть.

Солдат там с каждым годом становилось всё меньше; отец сказал, что скоро часть вообще прикроют — стратегического значения у неё не было никакого. Раньше за селом была станция и даже одноэтажное здание вокзала, ради него и была построена котельная. Но на вокзале давно уже не останавливались никакие поезда. Он пустовал, пылясь и осыпаясь. Котельная обогревала саму себя и магазин. Защищать тут, кроме трёх коров, было некого.

Несколько лет назад солдатики ходили в деревню за молоком, а потом перестали. Расхотелось, наверное.

Но в части ещё дымили котлы, маршировали новобранцы, изредка громыхал мат. Всё отсвечивало на солнце: спины, кастрюли, окна, плац, кокарда офицера. Два срочника, зашкерившись, курили в кустах за столовой.

Солдаты сверху смотрелись как игрушечные.

Пацан немного поиграл ими в войну, подводя полчища врага с восточной стороны части, но срочники, сидевшие за столовой, так и не обратили внимания на топот копыт и скрип тысяч повозок, поэтому пацан поспешил домой.

В одной руке у него были буквы, другой он пытался цепляться за цветы, отчего, когда сполз с насыпи, рука стала зелёной и вся горела.

Одна ладонь была горячая от букв, вторая от стеблей.

— Москва проехала, пора вечерять, — сказал отец, но голос у него был такой, словно рыба ему попалась дурная, с родимым пятном, с бледным больным глазом: и выбросить жалко, и есть страшно.

— Ты зачем лазил на пути, бродяга? — спросил пацана отец, усаживаясь за стол.

Бабушка поставила мужикам тарелки и тихо, словно пугаясь, звякнула ложками.

Пацан молчал.

Отец начал смуро есть, изредка поглядывая в окно.

Он сроду не тронул сына, но пацан всё равно его боялся.

Бабушка не желала приступать к еде, пока за столом не воцарится мир. Ей казалось, что возьми она хлеб или, упаси бог, ложку — всё вообще пойдёт наперекосяк.

Отец, на мгновенье позабыв, что ему положено быть суровым и строгим, спросил у бабушки:

— А чего сарай открыт? — и кивнул за окно.

— Да два цыплова куда-то потерялись. Звала-звала, нету.

— Это бандеровский кот, — сказал отец уверенно. — Я сказал уже Бандере: прибью иуду.

— Ой, да не бандеровский, — сказала бабушка. — Он лентяй, лежит целый день — кот Бандеры... Какие ему цыплови! Его хоть за усы тащи — не проснётся.

Пацан, сообразив, что от него отвлеклись, вдруг высыпал на стол буквы. Под вечерней лампой они отсвечивали, как серебряные. Расставил их в форме слова «Москва».

Отец, прищурившись, смотрел.

— Красиво, — сказал. Потянулся и взял одну из букв.

Бабушка тоже полюбовалась, но прикоснуться не решилась.

Пацан быстро доел свою картошку, выпил молока и ушёл в комнату читать книжку. Детских книжек в доме было три — одна в картонной обложке, а две другие без обложек и названий.

— Откуда ты прознал о насыпи-т? — спросила бабушка на кухне.

— Бандера сказал, — ответил отец, щетинисто усмехаясь. — Всё, наверное, решал: как ему приятней будет — что этот бродяга снова полезет под состав или что я его вздую дома. Выбрал: лучше, если вздую.

По молчанью бабушки было слышно, что она не согласна с отцом. Бабушка считала Бандеру неплохим мужиком.

Она всех людей считала хорошими.

Для бабушки любое человеческое несчастье было равносильно совершённом хорошему делу. Мужик запил — значит, у него жизнь внутри болит, а раз болит — он добрый человек. Баба гуляет — значит, и её жизнь болит в груди, и гуляет она от щедрости своего горя. Если кому палец отрезало на пилораме — это почиталось вровень с тем, как если б покалеченный весь год соблюдал посты. У кого вырезали почку — это всё одно, что сироту приютить.

У бабушки это очень просто в голове укладывалось.

Бандера жил с женой и тремя маленькими внуками. Какого они пола, пацан толком так и не знал — детей редко выпускали за ворота. Они попискивали где-то в глубине дома или в коровьем стойле, куда их перетаскивали, когда Бандера доил коров — он сам доил.

Пацан как-то слышал, что раньше неподалёку от деревни была тюрьма, где сидел то ли отец, то ли дед Бандеры — и, выйдя на волю, остался тут жить. Но род их всегда вёл себя скрытно, негромко.

Пацан иногда подолгу стоял у Бандерина дома — понапрасну ждал, что его подпустят к детям, он бы поиграл с ними.

В былые времена в Бандерином дворе обитало множество разнообразных, шумных и пушистых собак. Жена Бандеры собирала их и сдавала на шкурки в какую-то живодёрню.

У них был сын, белёсый, рослый, видный. Кому-то подражая, рубашку носил всегда с завёрнутыми по локоть рукавами. Наглядевшись на него, пацан стал носить так же — подворачивал свои обноски, начиная с первых майских дней. Руки только мёрзли всё время.

Сын женился на местной девке, быстро наплодил троих, потом сошёлся с какой-то городской и пропал. Невестка осталась жить у Бандеры в семье.

Разве бабушка могла после этого плохо думать о Бандере?

— Бандера! — дразнил её отец, — Приютил детей! Чужих, что ли, приютил? Своих же! Куда ж им скопленные собачьи деньги тратить! Они ж собак всю жизнь резали на мясорезке! Подрастут щенки — и под нож! Вот сынок и вырос такой! Он привык, что с щенками так можно: поиграл и забыл...

Бабушка молчала так, что пацан понимал: она согласна с отцом. Согласна, но не осуждает всё равно ни Бандеру, ни сына его, ни невестку, ни Бандерову жену.

На всю деревню полная семья осталась только у старшего Бандеры и Дудая. Все остальные мужики либо бедовали по одному, либо домучивали своих матерей.

Те из женщин, что вовремя не сбежали с дембелями, из девичества сразу торопились в сторону некрасивой, изношенной зрелости, чтоб ничего от жизни больше не просить и не ждать. Ели много дурной пищи, лиц не красили.

Дедов в деревне не было вовсе, деды перевелись. Детей тоже почти не водилось, одна бандеровская мелкота. Подросшие сыновья Дудая пару лет назад переехали в город и там то ли учились, то ли работали — или и то и другое.

Средняя школа была только в соседней деревне, за двенадцать километров, отец ездил туда, договорился, что будет учить пацана дома и два раза в год привозить его сдавать экзамен.

Зимой село будто спало, лёжа на спине, с лицом и животом, засыпанными снегом. Отец иногда собирался и, прихватив охапку дров, шёл затопить печь к соседским

алкоголикам. Те могли замёрзнуть с перепоею, когда не топили дня по четыре.

Заставал их, лежавших под ворохом телогреек, одеял и тряпок, скрючившихся и посеревших.

Раньше в деревню наезжал трактор, проделывал дороги, но сейчас в этом необходимости не было — дорога была одна — ведущая к магазину, её раскатывала шишига, которая раз в неделю подвозила продукты. Меж остальными домами только натаптывались тропки, и то терявшиеся после трёхдневных снегопадов.

Вдоль тропок виднелись жёлтые прогалы, оставляемые двумя деревенскими кобелями.

Прошлую ледяную зиму случай был. Бабушка выглянула в окно и спрашивает отца:

— Чёй-то не пойму, чьи собаки во дворе суетят?

Посмотрел отец и хохотнул:

— Это волки, мать.

В дверях раздался ужасный скрежет, пацан потерял от страха дар речи, да и бабушка напугалась.

Отец пошёл открывать, бабушка глянула на него так, словно он собирался поджечь дом.

— Волки не полезли бы в двери, — сказал отец хрипло и негромко: — Это не волки.

Распахнул дверь, и в избу влетел дудаевский кобель, вечно круживший по деревне без привязи, — глупый, крикливый и хамовитый. Но тут он улыбался и заискивал всей мордую. Показалось, что кобель только притворился злым и бестолковым — а сам всё понимает, и попроси его сейчас встать на задние лапы — он встанет и постарается станцевать.

Совершенно очевидным образом поздоровавшись и с бабушкой, и с отцом, и приветливо кивнув пацану, которого до этого никогда не привечал, дудаев кобель мелькнул под кровать и затаился там, не дыша.